

*Кэрл, которая подвигла меня на это,
и Тому, который испытал все это на себе*

Красные поля и часть серых полей Оклахомы только сбрызнуло последними дождями, и этого было слишком мало, чтобы размягчить запекающуюся землю. Плуги прошли по полям, исчерченным струйками не впитавшейся в почву воды. После дождей кукуруза быстро дала ростки, по обочинам дорог зазеленели травы и бурьян, — и серые поля, и темно-красные поля начали исчезать под зеленым покровом. В конце мая небо выцвело, и облака, всю весну державшиеся кучками высоко в небе, мало-помалу растаяли. Горячее солнце день за днем пекло подрастающую кукурузу, и вот по краям зеленых побегов уже начала проступать коричневая полоска. Тучи появлялись ненадолго и исчезали, а потом и вовсе перестали собираться. Зеленый бурьян потемнел, защищаясь от солнца, и уже не захватывал новых участков. На поверхности земли образовалась тонкая спекшаяся корка, и по мере того как выцветало небо, выцветала и земля: красные поля становились жухло-розовыми, серые выгорали до белизны.

По канавкам, размытым прошлогодними дождями, земля струилась сухими струйками. Пробегая по ним, суслики и муравьиные львы ссыпали вниз маленькие лавины пыли. Солнце палило изо дня в день, и листья молодой кукурузы становились уже не такими упругими и прямыми: сначала они чуть прогнулись посередине, потом жилки потеряли свою крепость, и лист поник к земле. Пришел июнь, и солнце стало печь еще свирепее.

Коричневая полоска по краям кукурузных листьев ширилась, подбираясь к центральной жилке. Бурьян сморщился, и стебли его повисли вниз, касаясь корней. Воздух был прозрачный, небо — совсем выцветшее, и земля тоже выцветала день ото дня.

На дорогах, там, где землю дробили колеса и рассекали лошадиные копыта, корка подсохшей грязи превратилась в пыль. Все движущееся по этим дорогам поднимало ее за собой: пешеход шел по пояс в тонкой пыли, фургон взметал ее вровень с изгородью, за автомобилем она клубилась облаком. Пыль долго стояла в воздухе, прежде чем снова осесть на землю.

Когда июнь уже близился к концу, из Техаса и Мексиканского залива надвинулись тучи — тяжелые грозовые тучи. Люди в полях смотрели на них, втягивали ноздрями воздух, поднимали руку, посплюнув палец, — проверяли, есть ли ветер. И лошади беспокоились, не стояли на месте. Грозовые тучи окропили землю дождем и быстро ушли дальше, в другие страны. Небо после их ухода было такое же выцветшее, солнце палило по-прежнему. Дождевые капли, упав на землю, пробуравливали в пыли маленькие воронки, немного промыли кукурузные листья, и это было все.

Вслед тучам повеял мягкий ветер, он гнал их к северу и легко покачивал увядающую кукурузу. Прошел день, и ветер окреп, но дул он ровно, без порывов. Дорожная пыль поднялась в воздух, ее относило на бурьян, росший по обочинам дорог, и на поля. Теперь ветер дул сильно и резко, он старался раскрошить подсохшую корку на кукурузных грядках. Мало-помалу небо потемнело, а ветер все шарил по земле, вздымая пыль и унося ее с собой. Ветер крепчал. Запекшаяся корка не устояла перед ним, над полями поднялась пыль, тянувшаяся серыми, похожими на дым космами. Кукурузу с сухим шуршанием хлестал налетавший на нее ветер. Тончайшая пыль уже не оседала на землю, а шла вверх, в потемневшее небо.

Ветер крепчал, он забирался под камни, уносил за собой солому, листья и даже небольшие комья земли и отмечал ими

свой путь, проносясь по полям. Воздух и небо потемнели, солнце отсвечивало красным, от пыли першило в горле. За ночь ветер усилился; он ловко пробирался между корнями кукурузы, и она отбивалась от него ослабевшими листьями до тех пор, пока он не вырвал ее из земли, и тогда стебли устало повалились набок, верхушками указывая направление ветра.

Наступило время рассвета, но день не пришел. В сером небе появилось солнце — мутно-красный круг, излучающий слабый, похожий на сумерки свет; к вечеру сумерки снова слились с темнотой, и в темноте над повалившейся кукурузой завывал и плакал ветер.

Люди сидели по домам, а если им случалось выходить, они завязывали нос платком и надевали очки, чтобы защитить глаза от пыли.

Снова наступила ночь — крошечная-черная, потому что звезды не могли проникнуть сквозь мглу, а света из окон хватало только на то, чтобы разогнать темноту во дворе около жилья. Пыль смешалась с воздухом, слилась с ним воедино, точно эмульсия из пыли и воздуха. Дома были закрыты наглухо, дверные и оконные щели забиты тряпками, но пыль незаметно проникала внутрь и тончайшим слоем ложилась на стулья и столы, на посуду. Люди стряхивали ее у себя с плеч. Еле заметные полоски пыли наметало к дверным порогам.

Среди ночи ветер смолк, и наступила тишина. Пропитанный пылью воздух приглушал звуки, как не приглушает их даже туман. Лежа в постелях, люди слышали, что ветер утих. Они проснулись в ту минуту, когда свист его замер вдали. Они лежали и напряженно вслушивались в тишину. Вот закукарекали петухи, но их голоса звучали приглушенно, и люди беспокойно заворочались в постелях, думая: скорей бы утро. Они знали: такая пыль уляжется не скоро. Утром она стояла в воздухе, точно туман, а солнце было ярко-красное, как свежая кровь. И этот день, и весь следующий небо сеяло пыль на землю. Земля покрылась ровным мягким слоем. Пыль оседала на кукурузу, скапливалась кучками на столбах изгоро-

дей, на проводах; она оседала на крыши, покрывала траву и деревья.

Люди выходили из домов и, потянув ноздрями опалевший жаром воздух, прикрывали ладонью нос. И дети тоже вышли из домов, но они не стали носиться с криками по двору, как это бывает с ними после дождя. Мужчины стояли у изгородей и смотрели на погибшую кукурузу, которая быстро увядала теперь и только кое-где проглядывала зеленью сквозь слой пыли. Мужчины молчали и не отходили от изгородей. И женщины тоже вышли из домов и стали рядом с мужьями, спрашивая себя, хватит ли у мужчин сил выдержать это. Женщины украдкой приглядывались к лицам мужей, кукурузы не жалко, пусть пропадает, лишь бы сохранить другое, главное. Дети стояли рядом, выводя босыми ногами узоры на пыли, и дети тоже старались проведать чутьем, выдержат ли мужчины и женщины. Дети поглядывали на лица мужчин и женщин и осторожно чертили по пыли босыми ногами. Лошади подходили к водопою и, мотая мордами, разгоняли налет пыли на поверхности воды. И вот выражение растерянности покинуло лица мужчин, уступило место злобе, ожесточению и упорству. Тогда женщины поняли, что все обошлось, что на этот раз мужчины выдержат. И они спросили: что же теперь делать? И мужчины ответили: не знаем. Но это было не страшно, женщины поняли, что это не страшно, и дети тоже поняли, что это не страшно. Женщины и дети знали твердо: нет такой беды, которую нельзя было бы стерпеть, лишь бы она не сломила мужчин. Женщины вернулись к домашним делам, дети занялись игрой, но игра не сразу пошла на лад. К середине дня солнце было уже не такое красное. Оно заливало зноем укрытую пылью землю. Мужчины сели на крылечки; в руках они вертели кто прутик, кто камешек. Они сидели молча... прикидывали... думали.

У небольшого придорожного бара стоял громадный красный грузовик. Вертикальная выхлопная труба глухо пофыркивала, и над ней стлался почти невидимый глазу серо-голубой дымок. Грузовик поблескивал свежей красной краской, а по борту у него шла надпись огромными буквами: *Транспортная компания Оклахома-Сити*. Двойные шины на скатах были новые, на засове широкой задней дверцы стоял торчком медный замок. Из бара доносилась спокойная танцевальная музыка; радио было пущено совсем тихо, очевидно, его никто не слушал. Маленький вентилятор бесшумно вертелся в круглом отверстии над входом, и мухи взволнованно жужжали у двери и окон, ударяясь о металлическую сетку. В баре был только один посетитель — шофер грузовика; он сидел на табурете, поставив локти на стойку, и смотрел вверх чашки кофе на скучающую худую официантку. Между ними шел пустой, ни к чему не обязывающий разговор, какие часто ведутся в придорожных барах:

— Я его видел месяца три назад, после операции. Вырезали ему что-то. Только не помню что.

И она:

— Да я сама его видела на прошлой неделе. Здоровый был, ни на что не жаловался. Он ничего малый, пока не напнется.

Мухи то и дело с жужжанием налетали на металлическую дверную сетку. Из электрического кофейника пошел пар, официантка, не глядя, протянула назад руку и выключила его.

На шоссе появился прохожий. Увидев грузовик, он медленно подошел к нему, тронул рукой блестящее крыло и посмотрел на бумажку, приклеенную к ветровому стеклу: «Брать пассажиров воспрещается». Он хотел было идти дальше своей дорогой, но раздумал и сел на подножку грузовика с той стороны, которая была дальше от бара. Человек этот выглядел лет на тридцать, не больше. Глаза у него были темно-карие, с желтоватыми белками, скулы широкие, по обе стороны рта залегли две глубокие морщины. Зубы выдавались вперед, но их не было видно, потому что он держал губы сомкнутыми; руки были огрубевшие, ногти толстые и твердые, как ракушки. В выемке между большим и указательным пальцем и на мясистой части ладоней поблескивали мозоли.

Человек был одет во все новое — недорогое и новое. Козырек его серой кепки даже не успел погнуться, и пуговка на нем еще сидела на месте. Кепка не потеряла формы, не обвисла, как это бывает, когда головной убор служит одновременно и сумкой, и полотенцем, и носовым платком. Серый костюм из дешевой грубой материи тоже был настолько новый, что на брюках еще сохранилась складка. Нестираная синяя рубашка торчала колом. Пиджак был ему слишком широк, а брюки короткие, не по росту. Пройма приходилась ниже, чем следует, но рукава все равно не доходили до запястий, полы пиджака болтались спереди. На ногах у него были новые коричневые башмаки армейского образца, подбитые гвоздями и с железными пластинками, вроде маленьких подковок, чтобы не сбивать каблуков. Человек сел на подножку грузовика, снял кепку, вытер ею лицо, снова надел ее и потянул за козырек, тем самым положив начало его гибели. Потом он нагнулся, ослабил шнурки на башмаках — и так и оставил концы незавязанными. У него над головой из выхлопной трубы дизель-мотора быстро один за другим вырывались легкие облачка голубого дыма.

Музыка в баре смолкла, из репродуктора послышался мужской голос, но официантка не выключила радио, потому что

она даже не заметила этой перемены. Ее пальцы нащупали за ухом прыщик. Она пыталась разглядеть его в зеркале, висевшем над стойкой, но так, чтобы шофер ничего не заметил, и поэтому притворялась, будто поправляет прядь волос. Шофер сказал:

— В Шоуни на днях публика собралась потанцевать. Говорят, убили кого-то. Ничего не слыхала?

— Нет, — ответила официантка и осторожно потрогала пальцем прыщик за ухом.

Человек, сидевший на подножке грузовика, встал и посмотрел через капот на бар. Потом снова сел и вынул из кармана пиджака кисет с табаком и книжечку курительной бумаги. Медленно и с большим искусством он свернул самокрутку, осмотрел ее со всех сторон, выровнял пальцами, закурил и ткнул горящую спичку под ноги, в пыль. Полдень был уже близок, и солнце понемногу съедало тень, падавшую от грузовика.

В баре шофер заплатил за кофе и сунул сдачу — две монеты по пяти центов — в автомат. Вращающиеся цилиндры не дали нужной комбинации.

— Эти штуки так устроены, что никогда не выиграешь, — сказал он официантке.

Она ответила:

— А одному повезло, большой выигрыш сорвал. Совсем недавно, часа три назад. Три доллара восемьдесят. Когда будешь обратно?

Шофер приостановился на пороге.

— Через неделю, а то дней через десять, — ответил он. — В Талсу еду, а там всегда задерживаешься.

Она сердито сказала:

— Мух напустишь. Или уходи, или закрой дверь.

— Ладно, до свиданья, — сказал шофер и вышел.

Дверь за ним захлопнулась. Он стал на солнцепеке, срывая обертку с жевательной резинки, — грузный, широкоплечий, с уже заметным брюшком. Лицо у него было красное,

глаза голубые и узкие, как щелочки, от привычки щуриться на ярком свете. На нем были брюки защитного цвета и высокие зашнурованные башмаки. Поднеся жевательную резинку ко рту, он крикнул официантке:

— Ну, будь умницей, чтобы мне на тебя не жаловались.

Официантка стояла, повернувшись лицом к зеркалу. Она буркнула что-то в ответ. Шофер медленно жевал резинку, широко открывая рот. Потом пошел к своему красному грузовику, на ходу примял зубами резиновую жвачку и забрал ее под язык.

Пешеход встал и посмотрел на шофера сквозь окна кабины.

— Не подвезете меня, мистер?

Шофер бросил быстрый взгляд на бар.

— Не видишь разве, что у меня на ветровом стекле?

— Как не видеть — вижу. А все-таки порядочный человек — он всегда порядочный, даже если какая-нибудь богатая сволочь заставляет его ездить с такой наклейкой.

Шофер медленно полез в машину, раздумывая над этим ответом. Если отказать, значит не только опорочить самого себя, но и признаться в том, что тебя заставляют развезжать с такой наклейкой и лишают компании в пути. А если взять пассажира, значит причислить себя к разряду людей порядочных, которые к тому же не позволяют всякой богатой сволочи распоряжаться тобой как угодно. Он чувствовал, что попался в ловушку, но выхода из нее найти не мог. А ему очень хотелось быть порядочным. Он снова взглянул на бар.

— Примостись как-нибудь на подножке вон до того поворота, — сказал он.

Человек нырнул вниз и ухватился за дверную ручку. Шофер включил зажигание, мотор взревел, и громадный грузовик тронулся с места, — первая скорость, вторая, третья, машина пронзительно взвыла и перешла на четвертую скорость. Сливаясь в мутное пятно, дорога с головокружительной быстротой проносилась перед глазами человека, при-

льнувшего к подножке. Первый поворот был за милю от бара, и, обогнув его, грузовик поехал медленнее. Человек выпрямился, приоткрыл дверцу и пробрался в кабину. Шофер взглянул на него прищуренными глазами, продолжая жевать, словно его мысли и впечатления приводились в надлежащий порядок с помощью челюстей и только потом проникали в мозг. Его взгляд задержался сначала на новой кепке, потом на новом костюме и наконец скользнул к новым башмакам пассажира. Тот уселся поудобнее, снял кепку и вытер ею взмокший лоб и подбородок.

— Спасибо, приятель, — сказал он. — А то мои ходули совсем отказываются служить.

— Новые башмаки, — сказал шофер. В его голосе была та же вкрадчивость и хитрость, что и во взгляде. — Разве можно пускаться в дорогу в новых башмаках, да еще по такой жарнице!

Человек взглянул на свои покрытые пылью желтые башмаки.

— Других не было, — сказал он. — Что есть, то и носишь.

Шофер внимательно посмотрел на дорогу и немного увеличил скорость.

— Далеко идешь?

— Угу. Я расстояния не боюсь, да вот только ходули мои совсем отказываются служить.

Шофер так выспрашивал его, будто производил осторожный допрос. Он будто раскидывал перед ним сети, ставил ловушки.

— Ищешь работу?

— Нет, у моего старика тут участок. Арендует. Мы уже давно в этих местах.

Шофер многозначительно посмотрел на поля вдоль дороги, на полегшую, занесенную пылью кукурузу. Из-под слоя пыли кое-где проглядывали мелкие камни. Шофер проговорил будто самому себе:

— Что ж, так он и сидит на своем участке? И пыль ему нипочем, и тракторы ему нипочем?

— Не знаю. Мне последнее время из дому не писали, — ответил пассажир.

— Значит, давненько не писали, — сказал шофер. В кабину залетела пчела и с жужжанием стала биться о ветровое стекло. Шофер протянул руку и осторожно подвинул пчелу к окну кабины, где ее подхватило ветром. — Арендаторам сейчас крышка, — сказал он. — Одним трактором сразу десять семей с места сгоняют. Эти тракторы таких дел наделали! Запахивают участок, а арендатора долой. Как это твой старик удержался? — Его язык и челюсти снова занялись резинкой, стали жевать ее и перекидывать со стороны на сторону. Каждый раз, как он открывал рот, между губами у него виднелся язык, гоняющий с места на место резиновую жвачку.

— Да я давно ничего не получал из дому. Сам писать не люблю, отец тоже на эти дела не мастер. — Пассажир быстро добавил: — Но писать мы умеем, была бы только охота.

— Работал где-нибудь? — Снова тот же пытливый, вкрадчивый и как бы небрежный тон.

Шофер взглянул на поля, на дрожащий от зноя воздух и, засунув резинку за щеку, чтобы не мешала, сплюнул в окно.

— А как же, конечно работал, — ответил пассажир.

— Так я и думал. По рукам сразу видно — мозолистые. Топор, а то кирка или молот. Я такие вещи всегда замечаю. Не могу не похвалиться.

Пассажир пристально посмотрел на него. Колеса грузовика с монотонным шуршаньем скользили по шоссе.

— Еще что-нибудь хочешь узнать? Я сам расскажу. Зачем тебе голову зря ломать?

— Брось ты. Вот — рассердился. Я в твои дела не суюсь.

— Я сам все расскажу. Мне скрывать нечего.

— Да брось, не сердись. Я люблю ко всему приглядываться. Время незаметно проходит.

— Я тебе все расскажу. Фамилия Джоуд. Том Джоуд. Отец тоже Том Джоуд. — Глаза его сумрачно смотрели на шофера.

— Брось сердиться. Это я просто так.

— Я тоже просто так, — сказал Джоуд. — Я живу тихо и зря никого не обижаю.

Он замолчал и взглянул на сухие поля, на истощенные зноем деревья, видневшиеся вдаль сквозь раскаленный воздух. Потом достал из бокового кармана кисет и бумагу и свернул самокрутку, опустив руки между коленями, чтобы табак не унесло ветром.

Шофер двигал челюстями размеренно и задумчиво, точно корова. Он молчал, выжидая, когда впечатление от предыдущего разговора изгладится, и лишь только чувство неловкости рассеялось, сказал:

— Кто не сидел целыми днями за рулем, тот не знает, что это такое. Хозяева не позволяют нам брать попутчиков. Вот и гоняй из конца в конец один, как проклятый, если не хочешь нарваться на расчет. А я с тобой того и гляди нарвусь.

— Ценю, — сказал Джоуд.

— Некоторые шоферы черт-те что выделывают. Один, например, стихи сочинял, чтобы время проходило быстрее. — Он взглянул украдкой на Джоуда, не заинтересуется ли тот таким поразительным сообщением. Джоуд молчал, глядя прямо перед собой, глядя на дорогу, на белую дорогу, которая уходила вдаль мягкой волнистой линией, повторяющей линию холмов. Так и не дождавшись ответа, шофер продолжил свой рассказ: — Одни его стихи я помню. Там так было: будто он и еще двое его приятелей разъезжают по всему свету, пьянствуют, дебоширят. Эх, жалость, всего не могу повторить! Он там таких длинных слов наворочал, сам черт не разберет. Помню только одно место: «Повстречался нам голландец, у него протуберанец ни в один не лезет ранец». Протуберанец — это выступ. Он мне в словаре сам показывал. Ни на минуту со своим словарем не расставался. Подъедет к закуской, закажет себе кофе с пирогом, а сам уткнется носом в словарь. — Шофер замолчал. Говорить одному, да еще так долго, было неприятно. Его пытливый взгляд снова остановился на пассажира. Джоуд сидел молча. Шоферу стало не по себе, и он

сделал еще одну попытку втянуть Джоуда в разговор. — Слышал, чтобы такие словеса выворачивали?

— Слышал — проповедника, — сказал Джоуд.

— Проповедник это дело другое, с ним лясы точить не станешь. Вообще-то, зло берет, когда так говорят, но тот малый был весельчак. Все знали, что он это на смех делает, а не так, чтобы похвалиться: вот я какой ученый! — Шофер успокоился. Теперь он, по крайней мере, знал: его слушают. Он сделал такой крутой поворот, что шины взвизгнули. — Вот я и говорю, — продолжал он, — некоторые ребята черт-те что вытворяют. Приходится. Сидишь-сидишь за рулем, ничего, кроме дороги, не видишь — поневоле ум за разум зайдет. Про шоферов болтают, будто они только и делают, что жрут, — ездят из одного бара в другой и жрут.

— Правильно. И днюют и ночуют в барах, — сказал Джоуд.

— Конечно, остановки мы делаем, но это не ради еды. Нам и есть-то редко когда хочется. Едешь-едешь — осточертеет вконец. Останавливаться можно только около баров, а если остановился, надо что-нибудь заказать. Перекинешься словечком с официанткой, закажешь стакан кофе, кусок пирога. Отдохнешь малость. — Он медленно жевал резинку, подправляя ее языком.

— Туго вам приходится, — равнодушно сказал Джоуд.

Шофер быстро взглянул на своего пассажира, заподозрив в его словах насмешку.

— Да, нелегко, — раздраженно сказал он. — Будто и плевать дело: отсидел за рулем свои восемь, а то и десять и четырнадцать часов в день — и все. А дорога тебе в душу въедается. Вот и придумываешь, чем бы поразвлечься. Кто поет, кто по-свистывает. Радиоприемники компания не позволяет ставить. Некоторые ездят с бутылочкой, но таких ненадолго хватает. — Он добавил самодовольным тоном: — Я в дороге никогда не пью.

— Будто и не пьешь? — спросил Джоуд.

— Нет. Надо в люди выбиться. Хочу поступить на заочные курсы. Изучу механику. Это нетрудно. Уроки задают легкие. Я серьезно об этом подумываю. Тогда прощай грузовик. Пусть другие поедят.

Джоуд достал из бокового кармана бутылку виски.

— Неужто не хочешь? — Он точно поддразнивал шофера.

— Нет, ну ее! И не притронусь. Что-нибудь одно: или пить, или учиться.

Джоуд откупорил виски, быстро один за другим сделал два глотка, снова закрыл бутылку металлическим колпачком и сунул ее в карман. По кабине разнесся резкий, пряный запах виски.

— Ты какой-то беспокойный, — сказал Джоуд. — Что тебя ест? Девочку, что ли, завел?

— А то как же? Да не в том дело, надо в люди выбиться. Я свои мозги уже давно тренирую.

Виски, по-видимому, развязало Джоуду язык. Он свернул еще одну самокрутку и закурил.

— Теперь уж мне недалеко, — сказал он.

Шофер торопливо заговорил:

— Мне напиваться незачем. Я тренируюсь, развиваю в себе наблюдательность. Два года назад прошел специальный курс. — Он погладил правой рукой штурвал руля. — Предположим, идет мне навстречу пешеход. Я на него посмотрю и стараюсь все запомнить — как он одет, какие на нем башмаки, что на голове, и походку примечу, а иногда и рост, и есть ли шрамы на лице, да еще прикинешь, какой у него вес. Ничего, получается. Будто перед собой этого человека видишь. Думаю, не изучить ли мне дактилоскопию. Есть и такой курс. Иной раз сам себе удивляешься, сколько всего можно запомнить.

Джоуд быстро отхлебнул виски. Он поднес расплзшуюся самокрутку ко рту, затянулся последний раз и притушил горящий конец заскорюзлыми пальцами. Потом смял окурок,

протянул руку в окно, и ветер сдул табак у него с ладони. Толстые шины ровно напевали, скользя по шоссе. В спокойных темных глазах Джоуда, смотревших на дорогу, появилось насмешливое выражение. Шофер замолчал и встревоженно покосился на своего пассажира. Наконец длинная верхняя губа Джоуда дрогнула, обнажив зубы, и его плечи затряслись от беззвучного смеха:

— Долго же ты к этому подбирался, приятель.

Шофер сидел, глядя прямо перед собой.

— Подбирался? К чему? О чем это ты?

Джоуд плотно сжал губы, потом лизнул их, точно собака — в два приема, от середины к уголкам рта. В его голосе появились резкие нотки.

— Сам знаешь о чем. Ты и меня с ног до головы оглядел. Думаешь, я не заметил?

Не поворачивая головы, шофер стиснул штурвал руля, руки у него побелели, под кожей вздулись мускулы.

Джоуд продолжал:

— Ты же знаешь, откуда я иду.

Шофер молчал.

— Ведь знаешь? — повторил Джоуд.

— Ну, знаю... То есть догадываюсь. Только меня это не касается. Мое дело сторона. Мне-то что? — Он говорил быстро. — Я в чужие дела не суюсь. — И вдруг выжидающе замолчал. Побелевшие руки все еще сжимали штурвал руля.

В окно кабины влетел кузнечик; он уселся на щитке контрольных приборов и начал чистить крылышки своими коленчатыми, пружинящими ножками. Джоуд протянул руку, раздавил пальцами твердую, похожую на череп головку насекомого и выкинул его за окно, на ветер. С тем же беззвучным смешком он посучил пальцами, только что державшими раздавленного кузнечика.

— Ошиблись, мистер. Я ничего замалчивать не собираюсь. Ну, сидел я в Мак-Алестере. Четыре года отбарабанил.

И одежду мне там дали перед выходом. Пусть все знают, плевал я на это. Вот иду теперь домой к отцу, потому что без вранья работы не найдешь, а врать я не собираюсь.

Шофер сказал:

— Это меня не касается. Я в чужие дела носа не сую.

— Это ты не суешь? — сказал Джоуд. — Да у тебя нос на восемь миль вперед вытянулся. Ты своим носом меня обнюхал, точно овца капусту.

Шофер насупился.

— Зря ты так говоришь... — вяло начал он.

Джоуд рассмеялся:

— Ты малый неплохой — подвез меня. Ну, сидел я в тюрьме. Дальше что? Хочешь знать, как я туда попал?

— Это меня не касается.

— Тебя ничего не касается. Ты будто и вправду — гоняешь свой рыдван и больше ничего знать не знаешь. А на поверку выходит другое. Ну да ладно. Видишь проселочную дорогу?

— Вижу.

— Я там слезу. Ты, верно, в штаны напустил от любопытства, очень уже тебе хочется узнать, за что меня посадили. Ну, не буду тебя мучить. — Рокот мотора стал глуше, песенка шин начала понемногу затихать. Джоуд вынул бутылку и отхлебнул из нее. Грузовик подъехал к проселочной дороге, под прямым углом пересекавшей шоссе. Джоуд вылез и стал у окна кабины. Выхлопная труба лениво подавала еле видный голубоватый дымок. Джоуд наклонился к шоферу. — Челоуекоубийство, — быстро проговорил он. — Вот тебе еще одно длинное слово. А попросту говоря, убил я одного молодчика. Заработал семь лет. Отделался четырьмя годами, потому что знал, как себя там вести.

Шофер скользнул глазами по лицу Джоуда, стараясь запомнить его.

— Я тебя ни о чем таком не спрашивал, — сказал он. — Мое дело сторона.

— Можешь доложить об этом во всех барах, отсюда до Тексолы. — Джоуд улыбнулся. — Ну, прощай, приятель. Ты малый неплохой. Только запомни: кто побывал в тюрьме, тот издали почует, куда ты гнешь. Тебе только стоило рот открыть — и готово дело, все ясно. — Джоуд хлопнул ладонью по металлической дверце. — Спасибо, что подвез. Прощай. — Он повернулся и вышел на проселочную дорогу.

Минуту шофер молча смотрел ему вслед, потом крикнул:

— Счастливо!

Джоуд, не оборачиваясь, помахал рукой. Мотор взревел, заскрежетала передача, и громадный красный грузовик тяжело тронулся с места.

Вдоль бетонированного шоссе тянулась кромка густой высохшей травы, и стебельки ее клонились к земле, — овсюг поджидал первую пробегающую мимо собаку, чтобы зацепиться усиками за ее шерсть, лисохвост — первую лошадь, чтобы стряхнуть свои семена ей на щетку, клевер — первую овцу, чтобы она унесла его щетинки на своей шубе. Спящая жизнь ждала, когда ее развеют, разнесут во все стороны, и каждое семечко было вооружено особым приспособлением для такого путешествия: ножкой, похожей на изогнутый дротик, парашютом, маленьким копьём или крохотной колючкой, — и все это поджидало животных или ветра, отворота на мужских брюках или подола женской юбки — поджидало терпеливо, но настороженно, поджидало спокойно, тихо, но в полной готовности к передвижению.

Лучи солнца падали на траву и грели ее, а в тени между стебельками сновали насекомые — муравьи и подстерегающие их муравьиные львы, суетливые, похожие на маленьких армадилл, сороконожки, кузнечики, которые то и дело взвивались в воздух, сверкая желтоватыми крыльшками. А вдоль дороги, поворачивая голову то вправо, то влево, волочила по траве свой выпуклый панцирь черепаха. Ее жесткие лапы с желтоватыми когтями медленно ступали по траве, вернее — продирались сквозь траву, таща на себе тяжелый панцирь. Ячменные семена скользили по нему, ворсинки клевера падали на него и скатывались на землю. Роговой клюв у черепахи был чуть приоткрыт, глаза пронзительным, насмешливым

взглядом смотрели на дорогу из-под жестких надбровных дуг. Позади нее оставалась полоса примятой травы, впереди вставала дорожная насыпь, казавшаяся ей высоким холмом. Она остановилась, подняв голову, прищурилась, посмотрела вверх, потом вниз и двинулась дальше. Передние когтистые лапы вытянулись одна за другой, но черепаха тотчас же убрала их. Заработали задние, панцирь подался вверх, с травы на гравий. Чем круче насыпь, тем резче становились движения черепахи. Задние лапы скользили, обрывались, подталкивая панцирь, длинная шея с чешуйчатой головой была вытянута до предела. Мало-помалу панцирь одолел дорожную насыпь и подобрался вплотную к бетонному борту вышиной в четыре дюйма, который пересекал ему путь. Задние лапы, словно действуя независимо от всего тела, двинули его выше. Шея вытянулась, и черепаха заглянула через борт на широкую гладь шоссе. Потом на борт легли передние лапы, они напряглись, и панцирь медленно подтянулся кверху. Черепаха отдыхала. Рыжий муравей пробрался между панцирем и нижним щитком, щекотнул нежную кожу, и вдруг голова и ноги черепахи спрятались, чешуйчатый хвост ушел вбок, под панцирь. Рыжий муравей лежал, раздавленный, между лапой и брюшком. А колос овсюга, приставший к передней лапе, тоже очутился под панцирем. Долгое время черепаха лежала неподвижно, потом из-под верхнего щитка показалась длинная шея, насмешливые старческие глаза посмотрели по сторонам, а вслед за этим выглянули наружу ноги и хвост. Задние ноги пришли в движение, напряжались, как у слона, и вот панцирь подался кверху, так что передние ноги оторвались от борта шоссе. Но задние подталкивали панцирь все выше и выше, центр тяжести переместился, передняя часть туловища скользнула вниз, когти царапнули по бетону, и черепаха стала на шоссе. А колос овсюга, обвившийся вокруг ее передних лап, так и застрял там.

Теперь идти было легче, и за работу принялись все четыре ноги; панцирь двигался вперед, покачиваясь из стороны

в сторону. На шоссе показалась машина, за рулем которой сидела пожилая женщина. Она заметила черепаху и круто свернула вправо. Шины взвизгнули, подняв облако пыли. Два колеса на секунду оторвались от земли и тут же стали обратно. Машина пошла дальше, но уже гораздо медленнее. Черепаха, спрятавшая было голову и ноги, теперь заторопилась, потому что раскаленный бетон обжигал ее, точно огнем.

Через минуту-другую впереди показался небольшой грузовик, и когда он подъехал ближе, шофер увидел черепаху и свернул прямо на нее. Переднее колесо чиркнуло по краю панциря, подкинуло черепаху вверх, точно костяную фишку, завертело, точно монету, и сбросило с шоссе. А грузовик опять выехал на правую сторону дороги. Черепаха долго лежала на спине, не высовывая наружу ни головы, ни ног. Наконец ноги вытянулись в воздух, ища опоры. Передняя нащупала кусок кварца, и мало-помалу черепаха перевернулась спиной вверх. Колос овсюга отцепился от лап, и из него выпали три остроконечных семечка. А брюшной щит черепахи, спускавшейся теперь вниз по насыпи, прикрыл их слоем земли. Черепаха выбралась на проселочную дорогу и заковыляла по мягкому слою пыли, оставляя за собой волнистый след. Насмешливые старческие глаза смотрели прямо вперед, роговой клюв был полуоткрыт. Лапы с желтоватыми когтями чуть разъезжались в пыли.

Услышав, что грузовик тронулся с места и, набирая скорость, покатил по шоссе, глухо откликавшемуся на шлепки резиновых шин, Джоуд остановился и проводил его взглядом. Машина исчезла, а Джоуд все стоял, глядя вдаль, на дрожащий от зноя голубоватый воздух. Потом, словно в раздумье, достал из кармана бутылку виски, отвернул металлический колпачок, осторожно потянул из горлышка и, чтобы получить полное удовольствие, просунул туда язык и облизал губы. Он попробовал вспомнить: «Повстречался нам голландец...» — но дальше этого дело не пошло. Тогда он повернулся спиной к шоссе и посмотрел на проселочную дорогу, уходившую под прямым углом в поля. Солнце пекло вовсю, пыль лежала ровным слоем, не потревоженная ветром. Дорога была изрезана колеями, до краев наполненными пылью. Джоуд сделал несколько шагов, и легкая, как мука, пыль, поднимающаяся перед его новыми башмаками, сейчас же запоорошила их, превратив из желтых в серые.

Он нагнулся, развязал шнурки и сбросил сначала правый, а вслед за ним и левый башмак. Потом размял потные ноги, притопывая ими по горячей пыли и пропуская струйки ее между пальцами до тех пор, пока подсохшую кожу не стянуло. Он снял пиджак, завернул в него башмаки и сунул сверток под мышку. И наконец зашагал дальше, взметая перед собой пыль, оставляя ее облачком, низко стелющимся по его следам.